



учительниц заплакала. Дети стояли вокруг Йоханана, и он рассказывал им о своей семье, о сестре и о родителях, задыхаясь от слез, сам не свой от горя. Дети окружили его и утешали, учительницы обнимали его, все было невероятно трогательно.

Когда мы вернулись на церковную площадь, несколько поляков на нас уставились. И заведующий банком тоже вышел на улицу. Туристы до этого городка обычно не добираются, и евреев здесь, конечно же, не видели со времен войны. Один из зевак — от него разило водкой — подошел к нам и заговорил. Поди поспорь с алкашом о тысячелетней истории. Я дал ему несколько злотых, пусть не думает, что евреи жмоты, и он помахал купюрами перед остальными. Мы оттуда убрались.

Мой долг перед Йохананом был выполнен, и на следующий день мы поехали в Аушвиц. Тут даже самых безбашенных подростков охватил священный страх. Бренд делает свое дело. Йоханан был без сил, я видел, что ему трудно идти, и лицо у него стало каким-то пустым. История его жизни должна была наполнить смыслом все те предметы и заброшенные строения, которые нам предстояло сегодня увидеть, и я надеялся, что Йоханан справится. Сначала мы, как принято, осмотрели первый концлагерь — Аушвиц I. Школьникам было трудно понять, что это за место. Здесь стояли не деревянные бараки, какие они видели на фотографиях, а аккуратные каменные здания, первоначально служившие казармами польской армии. Только внутри можно было увидеть камеры пыток, горы волос и протезов, подлинную газовую камеру и

крематорий. Йоханан смущенно сказал мне, что никогда здесь не был, это не похоже на то, что он помнит. Я ответил, что он и правда был не здесь, а в Биркенау. Двое школьников хотели поддержать его под руки, но Йоханан пожелал идти сам, опираясь на трость.

Оттуда мы прошли к автобусу и за пару минут добрались до Биркенау. Именно здесь концлагерь являет свою суть — электрические ограждения, бараки, железнодорожные пути, ворота; вот оно, все настоящее, вы можете этого коснуться, дотронуться до места, где истребляли род людской. Я увидел, что руки у Йоханана дрожат, губы что-то беззвучно бормочут, и понял, что совершил ошибку. Я не должен был его сюда привозить. Воспоминания оказались слишком сильны. Дети завернулись в свои флаги и стали фотографировать ворота и проходящие сквозь них рельсы. Я привел группу к грузовому вагону, у которого всегда начинаю свою лекцию. Здесь производилась селекция: направо — те, кого отобрали для немедленного истребления, в среднем семьдесят пять процентов от каждого транспорта, налево — признанные годными для уничтожения через каторжный труд. Их отводили в бараки, раздевали, наголо брили, набивали им номер.

— Я вижу огонь, — сказал Йоханан, глядя вперед, вдаль, в конец дороги.

— Расскажите им! — попросил я.

Дети окружили нас, замерли в ожидании.

— Маму они забрали туда сразу, — сказал он, дрожа. — У нее выступила красная сыпь на коже,

потому что у нас не было воды, чтобы помыться. Когда мы увидели дым из трубы, сразу поняли, что это мама. Ничего не надо было объяснять. Нас они забрали туда, — он показал на бараки за путями. — Сперва мою сестру, потом меня. Я видел ее изда- лека, она была выше меня. Вот и все. Что я там де- лал в этих бараках, в нужниках, в карьере, спросите вы? Какая разница? Кого это заботит? Я знал, по- чему не хочу туда. Пусть разожгут огонь, и я в него прыгну. Ребята, я не сделал ничего, что давало бы мне право жить, пусть не рассказывают вам всякий вздор. Это больно, это слишком больно!

Не было смысла вытягивать из него что-то еще. Свою жертву чудовищу Памяти он принес.

Я тут же закончил экскурсию, мы не пошли ни в бараки, ни к руинам газовых камер. Потому что его мать и его сестра как будто в тот самый момент задыхались, корчились в муках, синели, мочились и испражнялись под себя. Может быть, у них были месячные. Может быть, зондеркоманда выволаки- вала их наружу, искала драгоценности у них во рту и между ног. Это происходило прямо сейчас, — оставаться там было невозможно.

Группа возмутилась. Директор школы пришел меня уговаривать, предложил, чтобы кто-то про- водил Йоханана к воротам, посидел с ним в авто- бусе, а мы продолжили бы экскурсию. Дети под- няли шум, затопали от разочарования ногами, на девочках были сапожки, на парнях — неуклюжие кроссовки. Но мое решение было бесповоротным. Я привез его сюда, и я его отсюда вызволю. Он не останется в Аушвице ни минуты.

Мы вернулись в Краков. В гостинице прикрепленный к группе врач осмотрел Йоханана и дал ему успокоительное — старик все еще был очень взволнован. Я договорился с турагентством, чтобы Йоханана отправили первым утренним рейсом из Кракова в Варшаву, а оттуда в Израиль. Не волнуйтесь, дети ничего не потеряли, на следующий день мы вернулись в Биркенау и завершили экскурсию.

— Ненависть, — пытался я им объяснить, стоя между нарами музейного барака, — злоба и экономия. Экономия, злоба и ненависть — вот что тут было.

Впервые я осмелился отклониться от вашего обычного сценария, по которому работают все гиды, и мой голос дрожал.

— Здесь исчезла иллюзия, именуемая человеком. Посмотрите на себя, на ваших друзей, что вы есть? Мясные туши. Вам приходилось варить говядину? Тогда вы видели сухожилия и кровеносные сосуды, ткани. А рыбу вы когда-нибудь жарили? Вытаскивали из нее кишки, видели ее мертвые глаза? Это вы и есть. И если кроме кишок внутри вас имеется что-то еще, так это похоть и мерзкие побуждения, черви с амбициями. Но из соображений экономии следует воспользоваться животной энергией, которая в вас осталась. Вы не закаленные африканцы, привыкшие к тяжелому труду, и потому ваше уничтожение будет быстрым, позорным, нелепым. Ваше существование ранит землю. Ваша внешность, ваши хитрые разговоры — оскорбление человечеству.

Они смотрели на меня перепуганно. На чьей я стороне? Что за жуть я несу? Мне необходимо

было их шокировать. Я больше не мог выдавливать из себя все эти гладкие скорбные, беззлобные объяснения. В продолжение маршрута мы остановились у руин первой и второй газовых камер, примерно в километре от железнодорожной насыпи.

— Они шли сюда пешком, тяжелые чемоданы оставляли у вагонов, семьдесят пять — восемьдесят процентов людей в каждом транспорте уничтожались сразу же по прибытии. Вы должны это понять, история тех, кто остался в живых, — это просто сноска. Подлинная история — это история немедленно убитых, тех, которые не были нигде отмечены, не были зарегистрированы, которым не набили на руку номер, которых погнали напрямиком в газовые камеры.

Я встал напротив них над подземной раздевалкой, крыша с которой была снята, удалена, как корка с раны, а под ней — гниль. Перпендикулярно раздевалке расположена газовая камера, гигантский прямоугольник. Там все по-прежнему вопиет, эти прямоугольники кричат нам. *Как вы не видите?* Вот мама, вот дедушка, вот мальчик: они спускаются вниз по этой лестнице; здесь были вешалки, и скамейки, и указатели, ведущие к душевым. Их сопровождали зондеркомандовцы, обещающая после мытья пирожок и горячее питье. Время от времени немцы лупили кого-нибудь дубинками, но изредка, чтобы не вспыхнул бунт, который осложнит операцию, потребует серьезного вмешательства. Дело застопорится, прольется кровь. Я не мог это прокричать, лишь выкладывал перед ними факты, спокойно, сдерживая боль.

Иногда, если погода позволяла, мы шли дальше, к построенным позже газовым камерам, в 1944 году, чтобы справиться с перегрузкой, возникшей в связи с необыкновенным наплывом поездов из Венгрии. Это чем-то напоминало прогулку по заповеднику: в озерцах плавали водяные птицы, большие деревья качались на ветру, в весенней траве тут и там виднелись цветочки. Отовсюду слышались звуки природы. Немцы и евреи из зондеркоманды были здесь отрезаны от мира. Два-три раза в день прибывал транспорт, людей раздевали, начиняли ими газовые камеры — две тысячи человек за раз, приезжала машина Красного Креста, из нее выходил немец и бросал внутрь банку с циклоном Б. Процесс умерщвления занимал двадцать пять минут. Когда стальную дверь открывали, внутри громоздились кучей скорченные грязные тела, а пол был покрыт испражнениями.

Рабы-евреи по-быстрому вычищали все внутри, освобождали помещение от мертвого груза, проверяли рты, срезали женские волосы (здесь мы видим разительное отличие от других концлагерей, где людей стригли до убийства), помещали тела в печи: толстую женщину к худому мужчине или женщину к ребенку и мужчине — главное, чтобы хватило жира для сжигания всей закладки. Такая жирная работа случалась по нескольку раз за день, но большую часть суток — когда останки уже уничтожены, а следующий транспорт еще не прибыл — в лагере царила европейская идиллия, можно было перекусить и отдохнуть.

Куда бы мы ни пришли, дети везде пели гимн Израиля. В Треблинке, напротив мемориала, в Аушвице на платформе, у общих могил в лесах, в Бункере Анелевича на улице Мила. Завернутся во флаги и поют — и так всю поездку.

На одной экскурсии я осторожно спросил учительницу-организатора: может, стоит малость снизить градус? Исполняя гимн по два-три раза за день, по несколько десятков раз за неделю, в некотором роде обесцениваешь его.

Учительница посмотрела на меня с изумлением.

— Это их утешает, — сказала она. — Это наша победная песнь. Без него что нам остается? Лишь отчаяние. Мы не хотим, чтобы дети возвращались в Израиль с отчаянием в душе. Нам нужно вселить в них надежду.

Я решил не спорить. Мог бы, но зачем? Она была права.

Ненависти к немцам эти дети не испытывали, совсем никакой, даже близко не было. В истории, которую они для себя сочинили, убийц почти не существовало. Они пели печальные песни, заворачивались в израильские флаги и молились за души убитых, словно их гибель была predetermined свыше, — но никогда не направляли обвиняющий перст на исполнителей. Поляков дети ненавидели гораздо сильнее. Когда мы проходили по улицам городов и деревень, они при каждой встрече с местными бросали злые слова про погромы, про их сотрудничество с немцами, про антисемитизм. Но ненавидеть таких, как немцы, нам тяжело. Взгляните на их военные фотографии. Если

посмотреть правде в глаза, выглядят немцы просто классно, в этих своих мундирах, на этих своих мотоциклах, невозмутимые, как модели на рекламных щитах. Арабов мы в жизни не простим за их вид, за их щетину, за их коричневые мешковатые штаны, за их некрашенные хибары, за их сточные каналы, за их детей с гноящимися глазами. А вот этот европейский облик, ясный, чистый, — ему хочется подражать. Это первое.

Второе — немцы намеренно старались совершать свои убийства на польской земле, чтобы Германия оставалась красивой, чистой и опрятной. И преуспели. Вся мразь была выброшена на восток, на богом забытые свалки органических отходов, чтобы никакое зловоние не мешало прогрессу и культуре. Интеллигентные туристы могут посетить Дахау, или праздничные площади Нюрнберга, или Олимпийский стадион в Берлине, но настоящий забываемый кровавый кошмар надо искать на востоке, где в дождливый день зоркий путник до сих пор может заметить торчащую из земли кость. В Шварцвальде, куда наши туристы ездят отдыхать семьями, земля осталась неоскверненной. Немцы специально так задумали. И, что тут скажешь? Задумка удалась.

Третье — это, конечно, большие деньги, которые они заплатили Государству Израиль, и другие поблажки, которые помогают забыть.

И последнее, то, что я осознал лишь со временем, — тайное восхищение душегубством, решительным, дерзким, безжалостным. Невероятным актом сосредоточенной, окончательной жестокости, после которой не остается уже ничего.

Пожалуйста, не подумайте, будто я ненавижу этих ребят. Я видел в них собственное отражение. Я приписывал им все, что было в голове у меня самого, что не давало мне покоя. Я пытался скрыть это за знаниями. В каждой группе находились дети с умным, чутким взглядом, и я старался обогатить их знания. Я рассказывал в микрофон о немецкой любви к зеленым просторам, открывавшимся нам из окна автобуса, об их тоске по дням славы тевтонских рыцарей на Востоке и мечтах вернуться в города, которые они создали, снова стать нацией крестьян, воинов и здоровых, плодовитых матерей.

Большинство детей шумели и не обращали на меня внимания. Или пялились в айфоны, занятые перепиской и играми. Лишь немногие слушали.

— Присядьте, отдохните, — сказал мне однажды директор школы, увидев, как я напрягаюсь, и решив меня пожалеть. — Они уже узнали больше, чем стоило.

В соответствии с распорядком я должен был каждый вечер проводить с детьми задушевные беседы в гостинице, обсуждать непростые впечатления прошедшего дня. Школьники были измотаны и мечтали о свободном времени, сбежать с посиделок им мешали лишь страх перед учителями и серьезная тема беседы. Говорили в основном девочки — рассказывали, как им было грустно, а мальчишки молчали, уставившись в пол, и ждали, когда уже все закончится. Честно говоря, у меня не было на это сил. Я делал вид, что вникаю в их чувства, вдумчиво кивал головой, но на самом деле

мечтал перебраться в темный уголок бара и там завершить свой день.

Я не верил тому, что ребята говорят на публичных обсуждениях. Мои уши ловили их тайные разговоры на задних рядах во время официальных церемоний, в автобусе, на тропинках, за столом во время завтраков и ужинов. Там высказывались мысли совсем иного толка — те, что легко перепархивают из потаенных уголков сознания прямо в рот, проскальзывают между зубами, превращаясь в слова. *Ашкеназы*, — слышал я не раз и не два, — *это предки леваков*, не сумели защитить своих женщин и детей, сотрудничали с убийцами, это не мужики, не умеют отвечать ударом на удар, трусят, червяки, дают арабам творить что хотят. Я слышал в их голосах злорадство, слышал, как они говорят между собой, что ашкеназы не были невинными жертвами, видно, не просто так их убивали, смотрите, что они сделали с мизрахим<sup>1</sup>, таких змей никто не любит. Да, были и такие разговоры, господин председатель, у меня нет причин лгать. Необходимо исследовать это явление. Я не стал искать научного объяснения. Сам я ашкеназ только на четверть, лично мне обижаться не на что. По их представлениям, я на три четверти мужик. Но откуда это отращение?

Только несколько лет спустя я осознал, что места, пропитанные ненавистью, лишь плодят ненависть.

---

<sup>1</sup> Мизрахим — условное название евреев, проживающих и проживавших в странах Ближнего Востока и Северной Африки, и выходцев из этих стран в Израиле.